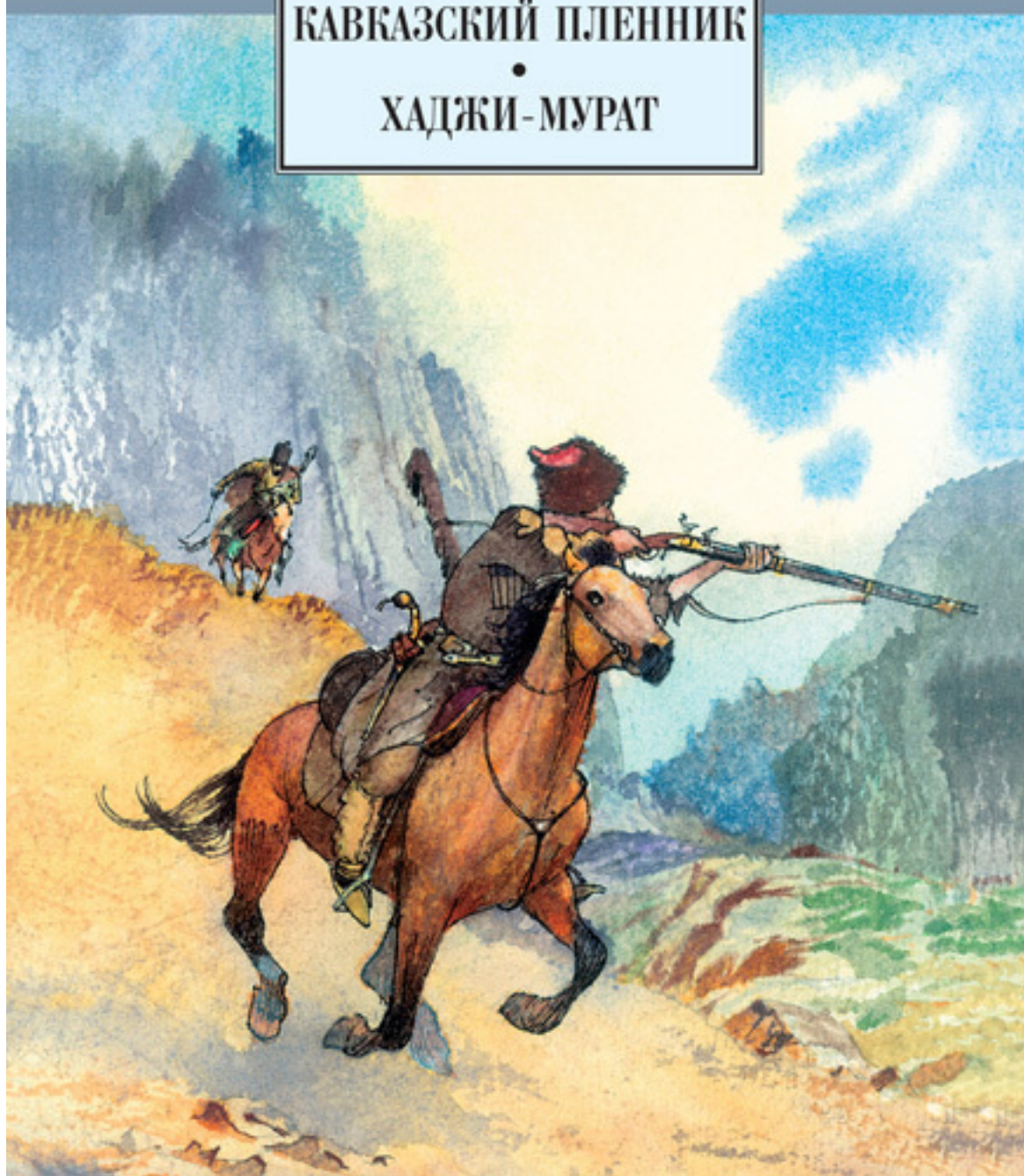


ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА



Л. Н. Толстой
КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК
•
ХАДЖИ-МУРАТ



Школьная библиотека (Детская литература)

Лев Толстой

**Кавказский пленник.
Хаджи-Мурат (сборник)**

Издательство «Детская литература»

1872, 1896–1904

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

Толстой Л. Н.

Кавказский пленник. Хаджи-Мурат (сборник) / Л. Н. Толстой —
Издательство «Детская литература», 1872, 1896–
1904 — (Школьная библиотека (Детская литература))

ISBN 978-5-08-004655-1

В книгу вошли произведения великого русского писателя, посвященные
событиям Кавказской войны середины XIX века. Для старшего школьного
возраста.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)1-44

ISBN 978-5-08-004655-1

© Толстой Л. Н., 1872, 1896–1904
© Издательство «Детская
литература», 1872, 1896–1904

Содержание

Кавказ – и вся жизнь	6
Кавказский пленник	23
1	23
2	26
3	29
Конец ознакомительного фрагмента.	31

Лев Николаевич Толстой

Кавказский пленник. Хаджи-Мурат

© Гулин А. В., вступительная статья, 2000

© Николаев Ю. Ф., иллюстрации, 2000

© Оформление серии. «Издательство «Детская литература», 2000

* * *



1828—1910

Кавказ – и вся жизнь

Поздней весной 1851 года на улицах станицы Старогладковской, одной из пяти расположенных в нижнем течении Терека гребенских казачьих станиц, появился молодой человек, только что приехавший из Центральной России. Вместе со своим братом, который уже не один год состоял на военной службе и теперь после отпуска возвращался в свою артиллерийскую бригаду, он проделал долгий и не совсем обычный путь. Ехали из Москвы не так, как было заведено – через Воронеж, Новочеркасск, – а, наведавшись в Казань и погостив у родных, спустились вниз по Волге и от самой Астрахани продолжали дорогу прикаспийскими степями. Уже миновали родину великого полководца Багратиона, город Кизляр, когда над степью вдали молодой человек впервые увидел снежные горы. Это впечатление стало для него одним из тех, что запоминаются на всю жизнь. Впрочем, тогда он еще не мог судить об этом. Как не понимал хорошо и цели своего путешествия. «Пишу... в 10 часов ночи в Старогладковской станице. Как я сюда попал? Не знаю. Зачем? Тоже», – отметил он кратко на страницах дневника. Так Лев Николаевич Толстой встретился с Кавказом. Встрече этой суждено было сыграть важную роль в дальнейшей его судьбе.

Творческий мир Толстого, каким он сложился за шестьдесят без малого последующих лет, огромен, почти безграничен. Ни русская, ни мировая литература не знают больше писателя с такой исключительной жадой всеохватности, стремлением создать собственный поэтический космос. Нет ни одной стороны подлинной жизни, которая не удостоилась бы самого пристального внимания художника. Неистощимо тематическое богатство его произведений. В первую очередь сказанное относится к шедеврам зрелого толстовского творчества – эпической книге «Война и мир», созданному на материале современности роману «Анна Каренина». События прошлого и настоящего, люди всех без исключения рангов и положений в разную пору их жизни, Москва, Петербург, русская деревня – все это и многое, многое другое необычайно рельефно запечатлелось писателем.

Тем не менее кавказская тема не затерялась в этом многообразии. Она сопровождала Толстого до глубокой старости и образовала особенное, неповторимое русло в его творчестве. Ничего подобного не происходило с большей частью тех мест, где пришлось побывать писателю. Скажем, с Румынией, Молдавией (там он недолго находился в 1854 году), странами Западной Европы, по которым дважды путешествовал. Даже Севастополь, после написанных в самой гуще героической обороны или по ее горячим следам знаменитых рассказов, больше не занимал художника как таковой. Но с периодом своей жизни на Кавказе он ощущал никогда не увядающую внутреннюю связь. В этом прошлом заключалось для него нечто сокровенное, затрагивающее как бы сердцевину его личности. Не случайно все, что он говорил и писал о тех краях, о том времени, было отмечено духом исключительного, даже по меркам толстовского творчества, самого подлинного лиризма.

На Кавказе будущий писатель очутился в неполных двадцать три года, человеком, как видно из памятной дневниковой записи, без определенных целей и занятий. Граф Толстой, представитель знатного, хотя и не самого богатого дворянского семейства, рано, еще в детстве, лишился родителей и в наиболее сложную пору жизненного становления был во многом предоставлен самому себе. Два с лишним года Толстой учился в Казанском университете, но бросил его, так и не получив систематического образования. За этим последовала четырехлетняя полоса метаний, соблазнов, жизни в новой и старой столицах России, в родовом гнезде – расположенном неподалеку от губернской Тулы имении Ясная Поляна.

Между тем юноша Толстой вовсе не был «самым пустячным малым», как назвал его однажды, пытаясь наставить на путь истинный, один из его братьев – Сергей. Скорее, наоборот, беспорядочные порывы молодости отражали необычайно богатую, впрочем самолюбивую и

гордую, натуру, не умеющую до времени найти поле для своей реализации. Когда другой брат – Николай (все они были старше Льва) предложил ему совершить описанную поездку, Толстой имел уже немалый опыт углубленных размышлений о себе и о мире, как и огромное стремление «построить» свою судьбу в соответствии с высокими идеальными установками.

К моменту приезда Толстого в Старогладковскую его жизненный идеал еще не оформился окончательно. Хотя истоки, направление, в котором совершался «внутренний рост» писателя, были уже хорошо различимы. В молодые годы Толстой испытал на себе, что было весьма характерно для его сословия, самые противоречивые духовные влияния. С одной стороны, весь уклад русской жизни, приверженной в ту пору вековым ценностям национального бытия: Православной вере, самодержавному государству, отечеству, семье – усваивался им из героических преданий прошлого, из самой обстановки, где протекали его детство и отрочество. Но «воздух эпохи» увлекал также новыми идеями о преобразовании личности и общества вне христианства, вне традиции, на основе неких «всеобщих», полностью земных представлений о хорошем и дурном.

Огромный отзвук в душе Толстого получили философские воззрения французского писателя XVIII столетия, уроженца города Женевы, Жан-Жака Руссо, чей портрет, по собственному признанию, в юности он носил на груди вместо распятия. Такая подмена выглядела вполне символичной. Руссо не считал себя безбожником, атеистом. Но поклонялся он им самим найденному божеству, целиком растворенному, по мысли женеvского мыслителя, в жизни мира. Это была, как верил Руссо, единая для всех безличная добродетель, которая присутствует повсюду и одушевляет собой вселенную. Наиболее полным, совершенным ее воплощением философу представлялась дикая природа. В далекие времена, учил Руссо, человек на земле тоже был гармоничным, естественным созданием. Более того, он и теперь остается таким в самый момент его появления на свет. Со временем он поддавался соблазнам цивилизации, утратил (и постоянно утрачивает!) это земное блаженство. Между тем по сути своей человек – добродетельное создание. Ему нужно лишь услышать в себе голос чувства – голос добродетели, чтобы отречься навсегда от «порчи» цивилизации и обернуться назад – к первобытному идеалу. Внятные во времена молодости Толстого каждому русскому крестьянину, любому из окружавших писателя в детстве дворовых людей христианские понятия о грехе и его искуплении, о Царствии Небесном и вечной гибели, о Святой Живоначальной Троице и враге спасения – сатане не были нужны учению «просветителя» Руссо. Оно предполагало как само собой разумеющееся достижение рая на земле.

Многое из того, о чем писал женеvский мечтатель, показалось юноше Толстому выражением его собственных мыслей. Дворянская среда, где он воспитывался и рос, хорошо подготовила почву для восприятия подобной философии. Еще маленьким мальчиком вместе с братьями и детьми соседей-помещиков Толстой играл в «муравейное братство» – некий прообраз мира всеобщего счастья и любви, разумеется почерпнутый из тех настроений, что нередко владели их отцами. Существовала и придуманная тем самым братом Николенькой, вместе с которым годы спустя он отправился на Кавказ, история о зеленой палочке – хранительнице тайны земного блаженства.

Одаренный с молодых лет отзывчивым сердцем, Толстой вслед за его новым кумиром искренне поверил, что удел всего света – торжество естественной добродетели, а сам он – ее малая частица. «Цель жизни человека, – написал он в пору своего студенчества, – есть всевозможное способствование к всестороннему развитию всего существующего...» Развитие в данном случае, конечно, означало совершенствование, обретение в себе, в окружающем мире врожденных любви и добра.

Жизнь, какой она представлялась юноше, была нравственной сама по себе. Нравственно ее течение, ее умножение. В ней самой заключена ее цель, ее идеал. Стоит лишь прислушаться к себе, чтобы различить естественного, идеального человека. Стоит ощутить всем существом

дыхание природы – и откроется вечная гармония мира. И там и здесь путеводной нитью служит простое человеческое чувство, эмоция, переживание. Это отголосок нравственного абсолюта, туманного нечто, пребывающего во всем, что живет и дышит. Такие понятия о мире и человеке, пока еще неопределенные, постепенно зарождались у писателя. Они оказались импульсом к титанической работе его молодых лет – попыткам усовершенствовать себя, избавиться, по его убеждению, от пороков и страстей, внушенных цивилизацией. Они же требовали незамедлительно «делать добро», всеми силами способствовать общему благу. Стремление к нему стало главной причиной, почему Толстой вышел из университета и окунулся в стихию «практической» жизни. То и другое не принесло видимых результатов. И все-таки будущее движение писателя раз и навсегда оказалось определено его ранними духовными впечатлениями.

Поклонение природе, земной, материальной жизни, чувству, инстинкту – все это с давних пор принято называть греческим словом «пантеизм». Иногда вместо него говорят по-русски – «язычество». По-своему пантеистическим было и толстовское восприятие мира. Долгие десятилетия писатель не отрицал воспитанные православием ценности русской действительности. Он жил в ней, любил ее, оберегал на поле брани, пользовался ее плодами. Никто не умел так «выпукло», так масштабно изобразить ее во всех неистощимых проявлениях. Но главной мерой всего и вся для него, русского художника, все же оставалось понятие о безгрешном человечестве, о мире, призванном достичь райского совершенства. Этот языческий идеал, где более, где менее отчетливо, заявлял о себе непременно в романах, повестях, рассказах великого творца. И то, как он описывал человека, родную землю, как понимал их судьбу, их назначение, всегда зависело от укорененной глубоко в сердце, не покидавшей его до самой смерти, далекой юношеской мечты. Вера писателя в добро, любовь была, кажется, очень близка вековым устремлениям русского народа. Тем не менее строилась она полностью на земном фундаменте и наполняла привычные, священные понятия иным, «обновленным» содержанием.

Окончательное становление собственного «духовного ядра» сам Толстой связывал с кавказским периодом своей жизни. Посвященные Кавказу будущие его произведения не случайно оказались настолько личными по интонации. Здесь находился важный источник всего толстовского мироощущения. Возвращаясь к той эпохе, он словно открывал в его первоизданном виде найденный им на годы вперед «символ веры». «Я был одинок и несчастлив, живя на Кавказе, – говорил он позже. – Я стал думать так, как только раз в жизни люди имеют силу думать. У меня есть мои записки того времени, и теперь, перечитывая их, я не мог понять, чтобы человек дошел до такой степени умственной экзальтации, до которой я дошел тогда. Это было и мучительное, и хорошее время... И все, что я нашел тогда, навсегда останется моим убеждением». Прделанная Толстым внутренняя работа принесла первые ощутимые плоды. В 1851–1853 годах были написаны повесть «Детство», рассказы «Набег», «Записки маркера». Появились наброски многих, еще не законченных, сочинений. Один из лучших в России журналов – «Современник» начал печатать молодого автора. На Кавказе он стал писателем.

Как часто бывает в жизни, истинное значение почти трех лет, проведенных на этой земле, стало открываться ему позднее. И кавказские образы в творчестве Толстого подернулись своего рода поэтической «дымкой воспоминаний». Между тем первые испытанные им впечатления почти разочаровали молодого человека. «Я ожидал, что край этот красив, – сообщал он «тетеньке» Т. А. Ергольской, дальней родственнице, занимавшейся его воспитанием, – а оказалось, что вовсе нет». Для себя Толстой отметил на страницах дневника: «Природа, на которую я больше всего надеялся, имея намерение ехать на Кавказ, не представляет до сих пор ничего завлекательного. Лихость, которая, я думал, развернется во мне здесь, тоже не оказывается».

Повседневный, будничныи Кавказ мало походил на страну известных Толстому ранних поэм Пушкина и Лермонтова, еще менее – на избыточно яркие картины из повестей А. А. Бестужева-Марлинского. Писателю потребовалось время, чтобы распознать и неповторимую красоту этих мест, и разнообразные, сильные характеры здешних обитателей – все, что вдох-

новляло романтическую традицию в русской литературе. Человек другого времени, Толстой не принимал крайностей романтизма и тонко полемизировал с ними, скажем, в рассказе «Набег». Но вместе с этим он и продолжил по-своему многие темы, которые увлекали его предшественников. Прежде всего тему «беглеца», вкусившей плодов цивилизации разочарованной личности, которая ищет свободы, счастья среди «неиспорченной» природы и таких же, как эта природа, естественных нравов. Она стала центральной для повести «Кзаки» (1853–1862) – задуманного им еще в молодости и завершеного лишь годы спустя поэтического шедевра.

Толстой воспринимал мир, воспринимал человека в нем всесторонне, не задерживая внимание на одних только исключительных признаках и типажах. Он был художником-реалистом. Тем не менее Кавказ в новом измерении, под иным углом зрения, открылся и ему как своего рода естественная среда обитания. Она порождала немало трудных для писателя вопросов, но все же выглядела в его глазах близкой к тому идеалу, которого он стремился достичь. И укрепляла его в собственных исканиях.

Герой «Кзаков» Дмитрий Оленин, конечно, не одно лицо с автором повести. Но его мысли, его переживания, безусловно, не были Толстому чужды. «Он не нашел здесь, – говорилось об этом персонаже, – ничего похожего на все свои мечты и на все слышанные и читанные им описания Кавказа. «Никаких здесь нет бурок, стремнин, Амалат-беков, героев и злодеев, – думал он, – люди живут, как живет природа: умирают, рождаются, совокупляются, опять рождаются, дерутся, пьют, едят, радуются и опять умирают, и никаких условий, исключая тех неизменных, которые положила природа солнцу, траве, зверю, дереву. Других законов у них нет...» И оттого люди эти в сравнении с ним самим казались ему прекрасны, сильны, свободны, и, глядя на них, ему становилось стыдно и грустно за себя». Ощувивший на Кавказе, что он «рамка, в которой вставилась часть единого божества», Оленин испытывал подлинную жажду слиться навсегда с этим открывшимся ему «пиршествom жизни».

Гребенские казачьи станицы Толстой увидел в пору, пожалуй, наивысшего их расцвета. Чувство собственной отчужденности, одиночества, может быть, только обострило в нем восприятие неповторимой красоты древнего казачьего уклада. Расположенные на равнине, в низовьях Терека, станицы эти отличались опрятностью и чистотой. Невысокие побеленные хаты, дворы, оплетенные поверху виноградной лозой, буйно плодоносящие летом, там и тут раскинувшиеся вокруг сады встречали каждого, кто попадал в этот самобытный, волнующий мир. Никогда не знавшие крепостного права казаки охраняли южные пределы отечества и, хотя оставались русскими людьми, все-таки считали себя особенным, вольным народом. Старообрядцы по вере, они усвоили с давних времен свои обычаи, свою, только им присущую, манеру одеваться, создали собственные песни, танцы – свою культуру. Время, не занятое воинским делом, мужчины проводили на охоте, благо тянувшаяся над Терекom (станицы располагались в нескольких верстах от воды) узкая полоска лесов изобиловала живностью: дикими кабанами, фазанами. Рыбная ловля тоже была в чести: мутные речные воды приносили самую лучшую, прямо с Каспия заходившую сюда, отборную рыбу. Женщины-казачки заправляли хозяйством, славились красотой, сильным, гордым характером и обладали над своими мужьями в домашнем быту несомненной полнотою власти.

Проведя немалое время среди казаков, писатель тесно прикоснулся к их жизни – и полюбил ее. У него появились приятели из их числа. Среди них выделялся немолодой уже казак Епифан Сехин – охотник, забияка, отчаянная голова. «Дядя Епишка» имел свои взгляды на мир, и его необычный облик, его языческая философия, провозгласившая, что все вокруг живое и все – одна душа, сыграли потом свою роль при создании образа дяди Ерошки из повести «Кзаки». То один, а то вместе с Епишкой Толстой охотился в лесу над Терекom. Этот густой, полный жизни в самых разных ее проявлениях, на взгляд человека средней полосы – почти тропический, лес вызывал в нем подлинное восхищение стихийными силами природы. Не оставляла писателя равнодушным и красота местных женщин. Толстой влюблен в казачку. Он мечтает о

том, чтобы жениться и остаться в этих краях навсегда. Но чувствует, что он – другой, не находит в себе той же простоты, естественности, он страдает. Более того, обнаруживает и в жизни дорогого ему сословия расхождение со своим идеалом. Основа жизни казака – это все же не охота, не рыбная ловля, не праздники, где лихо пьется молодое виноградное вино чихирь, а нечто очень далекое от того «земного рая», который открывался писателю.

Отправляясь на Кавказ, он знал, что едет к театру боевых действий. Война продолжалась в тех местах не год, не два – десятилетия. Русским войскам в ней противостояли многочисленные горские племена: непокорные воле царя, готовые опустошать южные губернии страны, постоянно угрожающие связям России с ее закавказскими областями – Грузией, Азербайджаном, Арменией. Как любая война, долгое противостояние на Кавказе знало моменты обоюдной жестокости. Оно унесло многие тысячи жизней с той и другой стороны. Все же с течением времени Кавказская война получила особый характер: стала делом хотя и страшным, но в некоторой степени домашним. Ее отличал неписанный «кодекс чести»: уважение к своему неприятелю, его храбрости и отваге, его лучшим обычаям. Здесь, как правило, умели ценить благородство, кем бы оно ни проявлялось. Противники твердо держались каждый своей цели, но отдавали должное самым славным удалцам, воюющим во вражеских рядах. Совершалось и постепенное, в борьбе, трудное соединение двух сторон. Офицеры, солдаты Кавказского корпуса, не говоря уже о терских казаках, перенимали некоторые исконно горские повадки. Горцы, встречая к себе человеческое, братское отношение, часто переходили к русским на службу. Впрочем, непримиримая их часть готова была до последнего дыхания воевать с «неверными». И тут уже борьба велась не на жизнь, а на смерть.

В начале 1852 года Толстой, следуя по стопам своего брата, поступил на военную службу. Он стал артиллеристом и первое время, до производства в офицеры, носил унтер-офицерский чин фейерверкера. Тактика русской армии – после ряда неудачных попыток одним ударом положить конец войне – состояла тогда в систематической рубке лесов, создании широких и укрепленных просек, что облегчало постепенное продвижение в горы, занятые недружелюбными племенами. Дважды Толстой принял участие в таких походах на территорию горной Чечни; продолжались они больше месяца каждый. И в том и в другом случае ему пришлось понюхать порошу: почти ежедневные стычки с неприятелем были здесь в порядке вещей. Остальное же время большей частью он жил в Старогладковской. Постепенно география его поездок по Кавказу расширилась: крепость Грозная, укрепление Воздвиженское, селение Старый Юрт, столица Кавказского края – Тифлис (Тбилиси), курортные города Кисловодск, Пятигорск. Человек незаурядного мужества, Толстой не проявлял большого усердия как строевой военный. Он больше был занят литературным трудом, охотно путешествовал.

Военная среда между тем тоже увлекала писателя своей неповторимой поэзией. Едва ли Толстой задумывался о высоком подвиге воинской дисциплины, о духовной сути этого непростого служения. Но уловить в буднях армии полноту, избыток жизненных сил, увидеть многообразие человеческих типов, которые часто являли себя в самых крайних ситуациях, – то, что исключительно пленяло его воображение, было дано ему в высшей степени. Не чуждо писателю оказалось и наслаждение вновь обретенным собственным положением. Десять лет спустя, уже давно находясь в отставке, он написал ставшему военным брату своей жены Софьи Андреевны А. А. Берсу: «Я очень счастлив, но когда представишь себе твою жизнь, то кажется, что самое-то счастье состоит в том, чтоб было 19 лет, ехать верхом мимо взвода артиллерии, закуривать папироску, тыкая в пальник, который подает № 4 Захарченко какой-нибудь, и думать: коли бы только все знали, какой я молодец!»

Офицерами на Кавказе были, как водится, очень разные люди. Встречались тут и настоящие ветераны – кавказцы по духу и судьбе. Обыкновенно выходцы из небогатых дворянских семей, они прошли огонь и воду, знали этот край лучше своего, где-нибудь в глубинной России оставленного, имения, любили и берегли солдата. Эти труженики войны – скромные, часто от

всего сердца расположенные к ближнему русские люди – искренне восхищали Толстого. Далекие от него по своему положению в обществе, по умственным запросам, они представлялись ему (конечно, иначе, чем это было с Епишкой) воплощением той же естественной правды и простоты. Земная, от природы идущая правда, казалось писателю, составляет и самое существо столь интересной ему в отдельных лицах массы обыкновенных солдат.

Но как любил он военную жизнь: разговоры на биваке у костра в кругу товарищей-офицеров, солдатские песни, гремевшие в походе над войсками, даже самую опасность находиться под огнем (она обостряла чувство бытия, своего присутствия в мире), – так недоумевал, внутренне содрогался при виде смерти, физических страданий, которые несет война. Простые современники писателя, русские солдаты, свято верили, что бедствия войны есть наказание человечеству за грехи, а война праведная – это путь спасения, обретения вечной жизни. Такое понимание вещей отразила в том числе и русская литература. Герой повести Н. С. Лескова «Очарованный странник» рассказывал, как во время войны на Кавказе полковой командир вызывал добровольцев для участия в заведомо гибельном предприятии: «Слушайте, мои благодетели. Нет ли из вас кого такого, который на душе смертный грех за собой знает? Помилуй Бог, как бы ему хорошо теперь своей кровью беззаконие смыть?» Позже Толстой не раз напишет о душевной силе и красоте русского солдата, его готовности так же скромно, как он жил на свете, принимать смерть в бою. И все же война навсегда останется для него величайшей несправедливостью, нарушением райского блаженства и гармонии, для которых, верил писатель, создан безгрешный, добродетельный человек.

Он хорошо узнал в те годы некоторых представителей коренных горских народов. Двое из них, находившиеся на русской службе, как называли их, *мирные* чеченцы, Садо и Балта, стали его кунаками. Кунак – не просто друг. Кунак – это друг до последнего вздоха. Жертвовать собой для кунака – радостная, почетная обязанность. Когда на склоне лет Толстой работал над повестью «Хаджи-Мурат», среди ее действующих лиц, видимо, не случайно появился названный кунаком главного героя персонаж по имени Садо. Бывая в домах у Садо, у Балты, писатель открывал для себя незнакомый, удивлявший человека иной культуры жизненный уклад. Интерес к обычаям горцев, душевному их строю, конечно, отвечал его давнему стремлению находить в мире и человеке «неиспорченные», естественные черты. Писатель огорчился привычкам цивилизации, которые замечал у новых своих приятелей. Зато ценил и уважал в них все, что они сберегли от жизни своих предков. По прошествии лет Толстой любил перечитывать опубликованные к тому времени по-русски песни, сказки, пословицы народов Кавказа. Дикая прелесть горской поэзии удивляла и покоряла его. Сам он еще в 1852 году записал русскими буквами две услышанные им от Балты чеченские песни.

Боевой офицер, он честно сражался с теми из горцев, кто не признал над собою власть его страны, от кого исходила угроза ее интересам и спокойствию. Такова была, хотел он того или нет, при всей ее сложности, увы, существующая реальность. Но в сердце Толстого уже зародилось глубоко личное, ему одному свойственное в такой мере понимание всего, что он увидел на Кавказе. Этот новый взгляд на мир казался ему больше, значительнее любых общепризнанных истин. И в центре его находилась языческая мечта о том же мире из плоти и крови, но избавленном от любого страдания, не знающем ни войны, ни разделения народов, мире гуманном и справедливым. Она диктовала писателю самые заветные его мысли, как та, что громко прозвучала в рассказе «Набег» (1852), первом чисто «кавказском» его произведении: «Неужели тесно жить людям на этом прекрасном свете, под этим неизмеримым звездным небом? Неужели может среди этой обаятельной природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщенья или страсти истребления себе подобных? Все недоброе в сердце человека должно бы, кажется, исчезнуть в прикосновении с природой – этим непосредственным выражением красоты и добра».

Толстой навсегда уехал с Кавказа в начале 1854 года, уехал, чтобы стать участником новой, в недалеком будущем – Крымской, войны. Он увозил с собой не только впечатления минувших лет. С ним был отныне состоявшийся, вполне осмысленный писателем его идеал жизни – общей и своей. Идеал мечтательный, недостижимый, как те снеговые горы, что открылись ему ранним утром в первый день по приезде. С ним были многие неразрешимые вопросы – прямое следствие вновь обретенного взгляда на мир. И среди них, может быть, самый главный: почему естественная, полная жизнь, которую писатель увидел на этой земле, так неизбежно связана с убийством себе подобных? Ему казалось, тут заключено некое противоречие. «Я начинаю любить Кавказ, – заметил он по л года спустя, – хотя посмертной, но сильной любовью. Действительно хорош этот край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода». Мысль о том, что лишенное света христианских истин состояние «первобытной свободы» как раз и порождает войну, что в нем самом таится источник вечной вражды, была для Толстого уже недопустимой.

* * *

После заверченного в 1855 году рассказа «Рубка леса», повести «Казачи», которая подвела своеобразный итог раннему периоду его творчества, Толстой не возвращался к теме Кавказа почти десять лет. Найденный в эпоху добровольного «изгнания», как называл он порой свои кавказские годы, идеал «естественной» любви и добра теперь усложнился, получил приложение к судьбам целого мира. Из него выросла грандиозная творческая вселенная. Но память о той почве, где впервые дало всходы это «языческое зерно», никогда не покидала писателя. Как собственное детство, как юность, время, проведенное им на Кавказе, продолжало оставаться для Толстого некоей заповедной «духовной родиной». Здесь обретал он по-прежнему в их первозданной чистоте самые глубокие свои устремления. И потому на разных этапах его непростого пути он опять и опять писал и думал о Кавказе. В марте 1872 года появился новый рассказ писателя о времени войны с горцами – «Кавказский пленник».

Литературная работа не была единственным делом, занимавшим Толстого на протяжении долгих лет. С молодости увлеченный мыслями о «практической добродетели», он искал приложения своим силам во многих областях человеческой жизни. Из них, может быть, самой дорогой для писателя стала сфера народного образования, учительство. В конце 1850-х годов Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крестьянских детей, где сам проводил уроки в духе своих нравственных принципов. Он издавал тогда же специальный журнал, посвященный вопросам педагогики. Новый период увлечения школой наступил в 1870-е годы, вскоре после завершения Толстым шестилетнего труда над «Войной и миром». На этот раз писатель подготовил и выпустил в свет собственную «Азбуку» для народа – одно из главных, как он считал, жизненных его свершений. Кроме учебной части, предназначенной овладению грамотой, счетом и другими полезными знаниями, в состав «Азбуки» вошли десятки написанных ее автором коротких рассказов. Им отводилась роль практического пособия для всех, кто хочет научиться читать. «Кавказский пленник» был среди них наиболее обширным и едва ли не самым значительным.

Адресованный в первую очередь маленьким читателям из народной среды, этот рассказ отличался особой простотой изложения. Но писатель вовсе не хотел «снизойти» новой творческой манерой до «неразвитых» понятий и вкусов. Еще в первую пору его школьных занятий Толстой напечатал большую статью «Кому у кого учиться писать, крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?». Язык народа, тем более детей из народа, всегда казался ему совершенным, пленял его своей силой и красотой. Разумеется, Толстой склонен был видеть в нем все ту же естественную, природную гармонию. Несравненный писатель, он часто укорял себя, укорял современных ему литераторов за то, что они пишут искусственным, «цивилизо-

ванным» слогом. При этом художник едва ли замечал православные истоки русской народной речи. Она в его понимании являлась лишь выражением земного нравственного абсолюта. К нему-то и хотел он приблизиться в очередной раз, начиная работу над «простыми» рассказами «Азбуки». Кавказский материал как нельзя лучше соответствовал в глазах Толстого такому замыслу.

Историю о злключениях русского офицера в горском плену писатель не выдумал. Подобные происшествия во времена войны на Кавказе были известны каждому. Толстой читал также и опубликованные в печати воспоминания тех, кто изведal подневольную жизнь в мире недружественных горцев. К числу таких мемуаров относились, например, записки полковника Ф. Ф. Торнау: несколько лет он провел пленником среди абхазцев. Сам писатель в 1853 году только чудом избежал столь же печальной участи. Ситуация очень напоминала ту, при которой произошло пленение Жилина – героя рассказа. Нестерпимо жаркий летний день, медленно ползущий по степи обоз, группа отчаянных офицеров, отделившихся от безопасной, но такой долгой и утомительной «оказии». И внезапное нападение врага. Только быстрота его коня да казаки, подоспевшие из крепости Грозной на выручку, спасли Толстого от плена или смерти. Вместе с ним в этой переделке находился его кунак Садо. Позднее писателя вряд ли не посещали мысли о том, как могла сложиться его судьба, попади он тогда в руки *немирных* обитателей гор. Тема русского невольника в этих цветущих краях, давно и прочно укорененная в отечественной литературе, имела для него также личный оттенок.

Во всем, что касалось сюжета, действующих лиц, испытаний, которые пришлось пережить главному герою, новое произведение, как всегда у Толстого, отличала большая, не буквальная, но высокохудожественная достоверность. И все же «Кавказский пленник» – это рассказ не просто реалистический. Писатель всемерно стремился тут стать на естественную, органичную, как представлялось ему – народную, точку зрения. Он избегал поэтому любых в совершенстве им освоенных приемов исследования внутренней жизни человека. Он отбрасывал как ненужные любые «цивилизованные» подробности.

Что в рассказе говорится о Жилине? Что это был барин. Что он служил на Кавказе. И больше почти никаких уточняющих деталей. Отсутствует даже имя героя. Точно так же мы не знаем, в какой местности Кавказа разворачивается действие: Чечня это или, может быть, Дагестан? Ничего не сказано и о том, кто такие по их кровной принадлежности горцы, захватившие Жилина в плен. То ли это аварцы, то ли чеченцы. Писатель предпочитал именовать их, как называли в народе всех мусульман: «татары». Точное время, даже десятилетие, когда происходят события, в рассказе тоже не обозначено. В поле зрения Толстого находились только вещи самые что ни на есть простые, можно сказать первобытные, изначально свойственные всему, что рождается на свет: борьба за жизнь, обретение свободы. И такими же простыми, элементарными были необходимые здесь понятия.

Создавая рассказ в новой для себя манере, писатель, несомненно, следовал живым образцам народного искусства. «Кавказский пленник» многими чертами напоминает сказку. Это касается не только особенного склада повествовательной речи, но и «расстановки» основных действующих лиц. Тут и невзрачный с виду Жилин – отважный, крепкий на поверку человек. И большой, тучный Костылин – малодушный и бессильный на деле. Есть в рассказе «чудесная избавительница» – татарская девочка Дина и даже «нечистая сила» – страшный старик татарин, от которого постоянно исходит угроза для жизни двух пленных офицеров. Приемы, испытанные в работе над «Кавказским пленником», по-своему «вдохнули» в этот рассказ и теплоту народной нравственности, и связанную с ней определенность, законченность изображенных тут характеров. Главный герой, «просто Жилин», каким он появлялся перед читателем, был тому лучшим доказательством.

Фамилия эта, как, впрочем, и парная к ней – Костылин, совершенно в духе рассказа, «говорящая». Если Костылин будет вечно спотыкаться, то Жилин все вытянет. «Невелик

ростом, да удал», «на всякое дело мастер» – скупые оценки, которые лишь изредка позволяет себе Толстой. За ними – неистребимая, полная жизни натура. Несмотря на «сказочную рамку», в которую помещен герой, в нем легко обнаружить приметы подлинных офицеров-кавказцев, известных писателю по временам его молодости. И разве не похож этот «маленький» офицер на более ранних героев Толстого: капитана Хлопова в рассказе «Набег» или еще одного, тоже «маленького», капитана из книги о совсем другой войне – Тушина? Только здесь перед нами персонаж идеальный, по законам жанра соединивший в себе самые лучшие (даром что Жилин – «барин») особенности простого русского человека. Нравственный облик Жилина не случайно так соответствует народным пословицам. «Сам пропадай, а товарища выручай», – говорят на Руси. Жилин не бросит виновника уже многих своих бед неуклюжего Костылина, хоть и придется ему после неудачного побега идти обратно в плен, может быть на погибель. И еще говорят: «Береги честь смолоду». Жилин нигде не запятнает своей чести. Он и врагам не поклонится, и родную старушку мать пожалеет (где ей взять денег на выкуп любимого сына?), и на своих обидчиков будет смотреть по-человечески. Хотя и обманет их, когда в нем захотят увидеть «лекаря». Хитрость на войне тоже не бывает излишней.

Нигде на страницах «Кавказского пленника» Толстой не собирался прямо раскрывать собственное отношение к тому, что он описывал. В этом состояла важная особенность вновь обретенного стиля. Тем не менее художник постоянно имел в виду свою сокровенную мысль. Нравственный мир народной сказки не исчерпывал полностью содержание рассказа. Это была только «оболочка», все же самое заветное скрывалось под ней. Уже по завершении новой работы писатель однажды сравнил себя с доктором, который подносит больному снадобье, выдает его за сладкие пилюли и желает лишь одного: «Чтоб никто не разболтал, что это лекарство, чтоб проглотили, не думая о том, что там есть. А уж оно подействует». Таким лекарством виделась ему идея простой, прямо от земли воспринятой добродетели.

Жилин очутился в обстановке не только чуждой ему, но и враждебной. И поневоле открыл для себя образ жизни его неприятелей, столь не похожий на все, что видел герой до этого. Горские обычаи – единственный предмет, который описан на страницах «Кавказского пленника» подробно и обстоятельно. Едва ли Толстой в рассказе для крестьянских детей стал бы так же детально показывать уклад русской деревни. Но «татарский» аул представлял для его воображаемых читателей немало интересного. Вот сакля – дом татарина: татары едят «просянные блины», «и руки все в масле». Вот они после неудачной вылазки хоронят убитого товарища: похороны не такие, как в России. Все это должно было увлечь, заинтересовать, но не только. Глазами Жилина Толстой открывал в мире врагов обычные, законные человеческие интересы. Пленник убеждался со временем, что есть и среди его неприятелей хорошие в общении люди. И к нему – вечному работнику, человеку чистой души, – преодолевая стену боязни и недоверия, тоже стали привязываться многие из них. Даже его хозяин Абдул-Мурат, у которого Жилин томился в неволе, – казалось бы, главный враг, – и тот начал испытывать к русскому «Ивану» теплые чувства. И стал повторять, как присловье, на ломаном русском языке: «Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!» А Дина, его дочь, та и вовсе сжалилась над пленным: помогла бежать.

Действующие лица рассказа, друзья и недруги, соединялись между собой глубоким потаенным родством. Элементарный круг наблюдения только ярче открыл эту сочувственную связь, очень важную для Толстого – великого поэта земного счастья, – также и в больших, «взрослых» его произведениях. Что может быть понятнее любому человеку, чем обыкновенное стремление вырваться из плена, сохранить себя? Окажись в неволе Абдул-Мурат, разве не будет и он, подобно Жилину, искать свободы? То же станет делать и зверь, и птица, и дерево в лесу, заглушенное соседними растениями. Все живое послушно одному древнейшему закону. Но как естественно стремление Жилина обрести свободу, так же естественно под солнцем делать добро. В этом писатель не сомневался. Взаимная любовь между людьми в его гла-

зах тоже была требованием дикой природы. И Дина выпускала героя на волю, как выпускают птичку из клетки. Толстой всегда особенно ценил и умел описывать такие моменты непринужденного единения сердец. Ему казалось, в них заключена вся правда о мире и человеке.

А война? А горе, страдания, плен, что выпадают людям на веку? А жизненные беды, которых не избежал никто? Все это так навсегда и осталось для Толстого нелепым, уродливым порождением цивилизации. До конца своих дней он верил, что в мире нет греха, нет в нем и виноватых. Есть божественная земная природа, и есть предназначенный для вечной радости в ее объятиях ни в чем не повинный человек. В душе у него звучит неподвластный рассудку постоянный «голос любви», который учит, как жить со всеми в ладу. «Твоя, Иван, хорош, моя, Абдул, хорош!» Вот и все. Одного простого, наивного чувства, полагал создатель «Кавказского пленника», вполне довольно, чтобы раз и навсегда «исправить», на деле повернуть к утерянному блаженству несправедливо устроенный белый свет. «Современная сказка» о русском человеке в плену глубоко, между строк тайла никогда не покидавшую писателя, укрепленную в нем годами жизни на Кавказе, эту его давнюю мечту.

* * *

С началом 1880-х годов настал последний, тридцатилетний, период жизни Толстого, особенно сложный и противоречивый. В эти годы он выступил как создатель собственной религии, которая учила практическому достижению рая на земле. В основе ее, как нетрудно увидеть, находились уже многолетние мысли писателя о любви и братстве всего человечества. «Новая вера» целиком отвергала веками существующий порядок вещей – в России и целом мире. Православная Церковь, русское государство, экономика, сословные, правовые отношения, наука, искусство в их традиционных формах – все это предстало в глазах писателя ненужными «пороками цивилизации».

Соответственно таким убеждениям Толстой стремился переменить свою личную жизнь. Отец большого семейства, состоятельный помещик, он мечтал отказаться от собственности, от права получать деньги за издание своих произведений, занимался единственно «правильным», с его точки зрения, крестьянским трудом. Огромное место в его творчестве этих лет заняли публицистические статьи, трактаты, где художник снова и снова обращался к современникам с призывами начать новую жизнь, прислушаться к «зову природы» или «нравственному закону любви», как часто его называл. Здесь же он, со страстью и нетерпимостью, гордо отрицал любые стороны бытия, не согласные с его учением. Долгое время Толстой считал себя христианином, хотя уже в начале новой для себя эпохи он переписал Евангелие по-своему, называя Христа Спасителя таким же, как все остальные люди, земным человеком, только первым среди них мыслителем и мудрецом. Это был настоящий бунт против самых глубоких основ национального жизненного уклада. В 1901 году Святейший Синод Русской Православной Церкви всенародно объявил об отпадении Льва Толстого от веры отцов, что было равнозначно церковному отлучению.

Отношение к художественному творчеству в эти поздние десятилетия сделалось у него заметно иным. Поэтические замыслы не оставляли писателя, но почти всегда отныне они содержали в себе элемент поучения, «морали», явной или скрытой. Таким был прежде всего роман «Воскресение» – титанический опыт воззвания «ко всем людям мира». Утверждению «новой веры» (конечно, их содержание никогда не ограничивалось только этим) служили так или иначе многие повести, рассказы писателя той поры. Но почти одновременно с работой над «Воскресением» Толстой задумал повесть, которая мало походила на все, что он написал в те годы. От начала до конца ее отличала лирическая тональность, почти исповедальный, живой характер. Писатель создавал ее долго, с большими перерывами, оберегая от посторонних глаз. Нередко он говорил себе, что в этом случае занимается «пустяками», теряет время, необходи-

мое для других дел, более важных в его понимании. И опять возвращался к ней, словно здесь-то и находился самый главный, таинственный ключ ко всей его долгой жизни, ее ценностям, ее итогам. В поле зрения писателя вновь оказался Кавказ времен его молодости. С 1896 по 1904 год был написан «Хаджи-Мурат» – последнее у Толстого большое художественное произведение.

Это – историческая повесть, и не только потому, что писатель был отделен от памятной ему эпохи уже без малого половиной века. Он, конечно, дорожил в новой своей работе личными воспоминаниями, более того, не будь у него такой «путеводной нити», произведение, видимо, просто не могло бы состояться. И все же Толстой создавал не просто поэтический этюд о милом ему, давно ушедшем времени, а повесть, основанную на совершенно реальных событиях. Среди ее персонажей, наряду с теми, что увидели свет исключительно по воле художника, появились десятки действующих лиц, носивших имена, хорошо известные в истории. Более того, они оказывались в центре повествования. Были тут и другие лица, тоже не придуманные, хотя их фамилии в памяти потомков почти не сохранились. Главный герой, по имени которого повесть получила свое название, относился к числу самых заметных, можно сказать прославленных, участников давнего военного противостояния. «Людам, не бывшим на Кавказе во время нашей войны с Шамилем, – говорил Толстой в одном из вариантов повести, – трудно себе представить то значение, которое имел в это время Хаджи-Мурат в глазах всех кавказцев».

По признанию многих современников, это был едва ли не самый дерзкий, бесстрашный, хитрый и удачливый военачальник недружественных России горских племен. На протяжении двенадцати лет он причинял войскам русского царя наибольшее беспокойство, нанося ощутимые удары в самых неожиданных местах, уходя от любого преследования. В 1851 году Хаджи-Мурат оказался в непростом положении. Между ним и могущественным Шамилем, религиозным и политическим вождем всех воюющих горцев (сами они называли своего владыку – имам), начались глубокие распри. Говорили, будто Шамиль несправедливо обвинил Хаджи-Мурата в последних поражениях, которые потерпели горские отряды. Может быть, он просто опасался его огромной популярности и только искал случая устранить опасного соперника. Скорее всего, у конфликта было много причин: недавних и застарелых. Так или иначе, знаменитый воин почувствовал угрозу кровавой расправы над собой.

Спасая себя, оскорбленный, движимый чувством мести, Хаджи-Мурат перешел на сторону вчерашних врагов и предложил свои услуги в дальнейшей войне против Шамиля. Беглецу оказали почетный прием: сохранили ему оружие, выплачивали денежное содержание из казны, вместе с ним оставались его духовные послушники и телохранители – мюриды, которые во время побега сопровождали прославленного горца. Встречаясь в Тифлисе с наместником царя на Кавказе М. С. Воронцовым, Хаджи-Мурат обсуждал с ним возможные планы своего участия в боевых действиях. Впрочем, положение осложнялось тем, что семья Хаджи-Мурата осталась в руках Шамиля. Все эти недели бывший смертельный враг «неверных» часто выходил на прогулку по улицам города, привлекая к себе общее внимание. Тогда же здесь находился и Толстой, хотя, судя по всему, будущего героя повести он так ни разу и не видел, только слышал рассказы о нем. В конце апреля 1852 года Хаджи-Мурат (он жил тогда по его просьбе в городе Нуха, на территории Азербайджана) неожиданно попытался бежать обратно в горы, но был настигнут и, после отчаянного сопротивления, убит. Голову Хаджи-Мурата привезли в Тифлис как бесспорное свидетельство его смерти.

«...Когда я пишу историческое, – признавался Толстой, – я люблю быть до малейших подробностей верным действительности». Эти слова были сказаны во время работы над «Хаджи-Муратом». Ему и прежде случалось десятками читать большие исторические труды, воспоминания, записки, беседовать со многими свидетелями давно прошедших времен. Так было во время труда над «Войной и миром» и тогда, когда он, полный решимости начать

работу, собирал материалы для романа о Петре Первом, большого произведения о декабристах – замыслов, так и не воплощенных. Но все-таки изучение подлинных фактов, необходимых для новой повести, по размаху не имело себе равных. Толстой изучал книги не только по истории, но и по этнографии (наука о народах Земли), археологии, географии Кавказа. Ему присылали по его просьбе выписки из пока еще не опубликованных архивных материалов. Он искал встречи, вступал в переписку со многими из тех, кто мог сохранить даже и малейшие воспоминания о волнующих его событиях. Если когда-то на страницах «рассказа для маленьких» такие подробности выглядели несущественными, даже неуместными, то теперь они получили для писателя самое серьезное значение. Ему казалось, что повесть «из прошлого» должна отражать решительно все стороны подлинной жизни.

Историки войны на Кавказе довольно подробно говорили о событиях, связанных с переходом Хаджи-Мурата на сторону его недавних противников. Толстому были известны яркие документы того времени: записка М. Т. Лорис-Меликова – будущего министра, тогда офицера, где прямо со слов знаменитого перебежчика излагалась его биография, письма в Петербург самого наместника Воронцова, посвященные «счастливой перемене в ходе военных действий». Отрывки из них Толстой переносил на страницы своей повести. Но живой облик «человека Хаджи-Мурата» – то, что прежде всего было ему интересно, – как правило, ускользал от внимания историков, плохо угадывался он и в сочинениях официальных лиц. И потому писатель собирал по крупицам любые сведения о внешности, манерах, особенностях поведения своего героя.

Так, он обратился с письмами к сыну и вдове полковника И. К. Корганова: у него в доме Хаджи-Мурат жил перед своим побегом обратно в горы. «Всякая подробность о его жизни, – объяснял он А. А. Коргановой, – во время пребывания у вас, об его наружности и отношениях к вашему семейству и другим лицам, всякое кажущееся ничтожным обстоятельство, которое сохранилось у вас в памяти, будет для меня очень интересно и ценно». Сын русского полковника и в самом деле сообщил Толстому одну интересную деталь: он вспомнил, как Хаджи-Мурат, видимо из давнего опасения, что его отравят, за столом брал кушанье обязательно из того места, откуда накладывали себе хозяева. Изображая обед у Воронцова-младшего, Толстой упомянул об этой манере необычного гостя, как поступал он и во многих других случаях с другими не менее выразительными, подлинными штрихами.

Показать человека поэтически всегда означало для писателя пролить свет на его внутренний облик, вообразить с полной реальностью его мысли, переживания. В случае с Хаджи-Муратом такая задача была особенно трудной. Толстой вел рассказ о представителе иной культуры, иного жизненного уклада. Конечно, он вспоминал приятелей своей молодости Балту и Садо, может быть, кого-то еще из давних знакомых. Тем не менее таких воспоминаний было ему недостаточно. И Толстой обратился к устному творчеству народов Кавказа. Речь знаменитого воина представилась писателю образной и краткой, она изобиловала многими характерными для горцев оборотами. Как правило, художник не приводил их дословно, какими нашел в книгах, посвященных кавказским обычаям и культуре, а едва заметно изменял, добиваясь естественности и простоты звучания. Горские песни, которыми он восхищался, тоже были очень важны в свете его замысла. Они, казалось Толстому, открывали верную дорогу в душевный мир его героя. Одна из них, подлинная «Песня о Гамзате», которую слышал в повести Хаджи-Мурат, стала источником впечатляющей «внутренней картины» – рассказа о том, что испытывал, думал известный горец ночью накануне своего последнего побега.

Но почему именно судьба Хаджи-Мурата, опального сподвижника Шамиля, так властно увлекла Толстого? В этом есть на первый взгляд какая-то странность, едва ли не причуда всеми признанного гения, тем более занятого столь постоянно и упорно вопросами вселенскими, мировыми. Между тем ничего случайного тут не было. Образ подлинного исторического лица затронул в душе писателя самые глубокие истоки его собственного отношения к

миру, истоки всего найденного им вероучения. Замысел повести появился у него внезапно, под воздействием обычного жизненного впечатления. И уже тогда он заключал в себе своеобразную «философию природы». «Вчера иду по передвоенному черноземному пару, – отметил Толстой на страницах дневника 19 июля 1896 года. – Пока глаз окинет, ничего, кроме черной земли, – ни одной зеленой травки. И вот на краю пыльной, серой дороги куст татарина [репья], три отростка; один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; другой сломан и забрызган грязью, черный, стебель надломлен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный от пыли, но все еще жив и в серединке краснеется. Напомнил Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до последнего, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее». Спустя месяц Толстому опять вспомнился поразивший его воображение репей. «Все стоит и не сдается, и один торжествует... – написал он на этот раз. – И какое-то чувство бодрости, энергии, силы охватило меня. Так и надо, так и надо».

Короткие дневниковые наброски позднее легли в основу того обширного «стихотворения в прозе», что открывало собой самое поэтическое среди поздних созданий писателя. В них наметился и особый характер поэзии «Хаджи-Мурата». Такой полноты языческого мироощущения у Толстого не было, пожалуй, больше нигде, даже в «Казаках». В повести появилась картина огромного, подобно полевым цветам, с любовью описанным в ее прологе, цветущего, бесконечно богатого мира. И все, кто находились в нем: люди, звери, деревья, травы, – были напоены одним для всех неукротимым чувством бытия. Оно то заявляло о себе видимо, воочию, как это происходило в заключительном рассказе о смерти главного героя, то «осеяло» едва заметно более тихие, «задушевные» эпизоды.

Вот солдаты ночью в дозоре. Над ними деревья (не деревья, а именно «деревя» – Толстой несколько раз повторил это слово). Еще выше звезды, они движутся по небосводу: то видны, а то упрятаны за ветвями, сучьями «дерев». К солдатам выходят горцы, посланные Хаджи-Муратом сообщить, что он готов перейти к русским. Их пошел проводить к начальству молодой солдатик Авдеев. «А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, – сообщал он своим товарищам, вернувшись обратно. – Ей-богу! <...> Право, совсем как российские. <...> Так разговорились хорошо». Эти солдаты, горцы, «деревя», небесные светила составляли, по мысли художника, единую нравственную вселенную. В ней была, как он полагал, изначально растворена великая любовь, отзывчивость, вечное, неистощимое добро. Раненый репей-татарин привлек его внимание не сам по себе. Он отстоял, казалось Толстому, заключенную в нем частицу божества, общего для всех «закона жизни». И Хаджи-Мурат выглядел в его глазах самым полным, законченным выражением этой природной силы, которая навсегда соединилась в мечтах писателя с понятием о нравственности.

Толстой, конечно, отдавал себе отчет в том, что знаменитый противник русских, а потом их неожиданный союзник далеко не во всем отвечал такому представлению о нем. Находя новые и новые подтверждения тому, что Хаджи-Мурат строго исполнял магометанские обряды, что это был во всем правоверный мусульманин, писатель не мог скрыть своего огорчения: всякая религия, кроме его собственной, в то время казалась ему заблуждением. «Как он был бы хорош, если бы не этот обман», – однажды сокрушенно заметил он о Хаджи-Мурате. Художник-реалист, Толстой не хотел жертвовать исторической правдой и многократно упомянул в повести, кто был ее главный герой по вероисповеданию. Тем не менее в поле его зрения постоянно оставалась давняя мечта, которую он так любил в этом персонаже. И он нарисовал образ человека осторожного, знающего себе цену, но, совершенно в духе толстовских понятий, чистого душой, наделенного природной отзывчивостью ко всем людям: соплеменникам и вчерашним врагам. Трудно сказать, насколько Хаджи-Мурат в действительности был таким. Историки не обращали внимания на его душевные качества. Писатель же неизменно «угадывал» в нем отсвет земной, естественной доброты.

Никто из тех, кому пришлось видеть знаменитого горца (разумеется, если они остались живыми после такой встречи), не говорил о том, что у него была добрая улыбка. В лучшем случае сохранились ни к чему не обязывающие воспоминания о вполне миролюбивых отношениях с ним после его перехода к русским. Хаджи-Мурат сдался сыну царского наместника, командиру Куринского полка С. М. Воронцову, с которым до этого несколько дней в глубокой тайне вел переговоры. Свидетелем этой сцены стал В. А. Полторацкий, известный Толстому по временам службы на Кавказе русский офицер, чей отряд был назначен в то утро на рубку леса. «Только что подскакал я к 3-му взводу, – рассказывал он, – как из опушки леса показалось несколько всадников. Впереди всех ехал красивый, статный брүнэт, в щегольской, белого сукна черкеске, украшенный дорогим, в золотой оправе, оружием. Умное и энергичное лицо его, с блестящими черными глазами, выражало полное спокойствие и самонадеянность. Приятельски протянув мне руку, он развязно сказал мне на аварском языке приветствие и, вопросительно махнув рукою в сторону князя, вместе со мною направился к нему. Это был сам Хаджи-Мурат». Воспоминания Полторацкого Толстой внимательно прочел, но обрисовал те же события по-своему.

В повести остались неизменными, хотя и перенесенные в новую ткань художественного произведения, почти все основные подробности, о которых сообщал участник подлинной сцены. И все же, показывая встречу русского офицера с Хаджи-Муратом, писатель вообразил еще одно, нигде не отмеченное, обстоятельство. «Он подъехал к Полторацкому, – сказано у Толстого о Хаджи-Мурате, – и сказал ему что-то по-татарски. Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждого человека, а перед ним был самый простой человек, улыбающийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, а давно знакомым приятелем». Улыбка Хаджи-Мурата удивила затем и светскую красавицу Марью Васильевну, жену Воронцова-младшего. Эта улыбка стала настоящим «солнцем» той языческой вселенной, которую теперь, на материале давно минувшей войны, создавал Толстой.

Несмотря на довольно скромные, по сравнению с большими романами писателя, ее размеры, новая повесть была задумана им широко, она вмещала в себя разнообразных действующих лиц, не похожие друг на друга описания и картины. Художник словно стремился уловить малейшие «отголоски» того, что происходило с Хаджи-Муратом, в судьбах десятков других людей. В этой работе ему была особенно дорога мысль о постоянной связи между собой всех живущих на свете. Русские солдаты, офицеры, горцы, казаки, крестьяне в далекой заснеженной деревне, генералы, министры, придворные – все они так или иначе становились участниками «давнишней кавказской истории». Действие повести переносилось из горного аула в русскую крепость, из Тифлиса в Петербург, из лесной чащи Кавказа в глубинную Россию. И почти везде, особенно среди простых героев произведения, Толстой открывал искры своего естественного добра, постоянную, как он считал, готовность к вечному миру.

И все же это была повесть о смерти, человеческих страданиях и бедах. Откуда они? Где тот плуг, что распахал цветущее поле, оставляя на нем лишь отдельные живые ростки? Почему улыбка Хаджи-Мурата, почему простые человеческие отношения заявляли о себе так подспудно, словно вырываясь из плена, должны были вечно отстаивать себя? Легко догадаться, какой ответ уже имел писатель на эти мучительные вопросы. Он не верил, что душа человека, и в самом деле сотворенная для добра, все же обречена до конца времен вести борьбу со злом, искушением, соблазном. Не верил, что подлинная гармония достигается только подвигом, смирением сердца, что без этой внутренней тишины не бывает и мира на земле. Не верил в последние годы ни в одну из тех священных истин, что знали русские мужики, солдаты, в том числе участники войны с Шамилем. Согласно своим понятиям он изображал героев повести.

И согласно тем же понятиям находил причину всех зол на свете. Такой причиной по-прежнему виделось ему исторически неправильное устройство жизни.

Разумеется, в «Хаджи-Мурате» Толстой избегал «обличать» открыто все то, что он считал пороками цивилизации. «Лирическая эпопея» не допускала такой, прямоты высказывания. Но самым течением повести он подводил читателя к мысли, что главный бич естественной добродетели – это государство, еще точнее – любая власть. Живое не терпит никаких рамок. Ему нужна полная, решительная свобода. И тогда расцветет сам собою, засияет вечной улыбкой весь мир. А государство не хочет этого. Оно одевает в мундиры простых русских мужиков, разлучает их с домом, наказывает за неповиновение, требует убивать на войне себе подобных и самим лишаться жизни. Разве не угадывалось такое понимание вещей в рассказе о «бессмысленной» смерти солдата Авдеева, о жизни его близких, которая пошла под откос после ухода на службу труженика сына? Это власть, но уже другая, призывает «хороших гололобых ребят» резаться насмерть с такими, как Авдеев, «неверными». Что власть необходима в мире как начало организующее, что она (даже несовершенная, как все на земле) может иметь глубоко нравственную природу, оберегать самые подлинные ценности жизни – такое казалось писателю невозможным. Он назвал бы (и называл много раз) подобное утверждение кощунством. Где государство – там порок, и чем выше, тем безнравственнее, был уверен создатель повести.

На ее страницах показаны два виднейших деятеля русской истории: царь Николай Первый и М. С. Воронцов. Фигуру наместника царя на Кавказе Толстой обрисовал ярко и выпукло, как всегда, со знанием подробностей о внешности героя, манерах его общения с теми, кем он был окружен. Все, что происходило в «Хаджи-Мурате» вблизи Воронцова: борьба интересов, потоки ничем не умеренной лести, – говорило о полном «иссякании» нравственного начала в том смысле, который придавал ему писатель. Для Толстого было не важно, что Воронцов – это прежде всего знаменитый герой 1812 года, что это его дивизия, «передовой полк» русской армии, вся полегла при Бородине уже в первые часы великой битвы, что сам ее командир был ранен. Он предпочитал вспоминать устами тех, кто собрался в один из вечеров у князя, совсем другие страницы из его прошлого, и рассказ обо всем, что говорилось тогда за ужином, отличала заметная ирония.

Точка зрения Толстого в этом случае выглядела определенной. Воронцов – государственный человек, Воронцов отвечает за боевые действия на Кавказе. Он безучастен к судьбе Хаджи-Мурата, он ищет в нем один только политический интерес. Этого было довольно, чтобы в герое повести писатель увидел главным образом орудие «жестокое, бессмысленного предвсудка», как называл он в те годы любую власть. И если, говоря о царском наместнике, он еще мог различить хоть какие-то проблески единственно важной для него «естественной жизни», то на высших этажах правления они, по мысли Толстого, были почти или совсем неразличимы. В духе таких убеждений оказалась написанная вся большая глава о русском царе. Николай Первый в это время стал для писателя чуть ли не главным воплощением всех бед цивилизации. Толстой словно забыл, как «нижние чины» в Севастополе, простые люди, которых так любил он, создатель «Хаджи-Мурата», плакали, узнав о смерти своего государя. Не мог поверить, что за их слезами скрывалась последняя правда о суровом и твердом царе. Для него это не был Помазанник Божий. Он видел в Николае Первом «помраченного» властью человека, не более. И смело проводил параллель между ним и восточным деспотом Шамилем, применяя в рассказе о них единые приемы.

Бегство исторического лица – Хаджи-Мурата – обратно в горы навсегда осталось одной из загадок прошлого. Кто мог с уверенностью сказать, что было на уме у бесстрашного воина? Историки судили по-разному. Между тем на страницах повести побег любимого Толстым героя получил значение громадное, символическое. Тут находилась, по замыслу писателя, ее вершина. Собственно, ведь репей-татарин напомнил ему не просто Хаджи-Мурата, а именно последние его часы. Конечно, Толстой находил поступку этого персонажа в том числе и простое

жизненное объяснение. Родные главного героя по-прежнему, несмотря на заверения Воронцова о хлопотах по их освобождению, находились у Шамиля в горном ауле Ведено. «Он решил, – говорилось о Хаджи-Мурате в повести, – что надо бежать в горы и с преданными аварцами ворваться в Ведено и или умереть, или освободить семью». Но порыв отчаянного горца, как вытекало из целого произведения, был вызван не одной тревогой за близких ему людей, а куда более важным, тоже естественным чувством. Ясное намерение только соединило в душе героя (такие моменты внутренней жизни Толстой всегда изображал рукой мастера) все самое важное, бессознательное, что, согласно мнению писателя, и заставило его бежать.

Сама природа, гордая и непокорная, рисовалась тут воображению Толстого. Герой повести, как и его реальный прототип, оказался между двух враждующих сторон, готовых его раздавить. Писатель был уверен, что это не просто военные противники, но две жестокие беспощадные силы, восходящие к их полюсам: в ауле Ведено и Петербурге. Эти силы, считал он, проникают весь свет, забирают в железные берега неистощимо добродетельную земную жизнь. И хотя теплый пульс этой жизни постоянно бьется, напоминает о себе, им послушны все люди. Они отравлены ядом цивилизации. Но побег Хаджи-Мурата – это возвращение к себе, существу из доисторических времен. Существо, которое вдыхает ароматы лесов и полей, наполняется животной силой. Она же, по Толстому, и есть добро. И он любовался своим героем, как любят красавцем зверем. Он сам дышал этим упоением дикой борьбы, разыгравшейся на островке среди затопленных рисовых полей, где окружили, взяли Хаджи-Мурата в кольцо, как полагал Толстой, «испорченные» властью его собратья. Он с нескрываемым ужасом и восхищением рисовал последний миг в жизни обреченного горца, создавая одно из самых совершенных своих описаний: «Сначала поднялась окровавленная, без папахи, бритая голова, потом поднялось туловище, и, ухватившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, что подбегавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшатнулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, упал на лицо и уже не двигался».

Со времени первых записей в дневнике, прямо отнесенных к новой повести, Толстой замыслил ее как своего рода «оптимистическую трагедию». В ее финале над местом только что отгремевшей схватки вновь начинали свою песню совсем было умолкнувшие соловьи. И все же дух глубокого отчаяния незримо витал над рассказом о бегстве и гибели Хаджи-Мурата. Тут была описана именно отчаянная борьба. Куда бежал герой повести? Отвергая любую власть, любую цивилизацию, общество людей, он словно уходил в мечту, в тот вымышленный рай, которого не существует на грешной, прекрасной земле. Уходил в то, чего нет. И значит, шел навстречу своему концу. Не он ли сам выбрал себе этот путь? Не оказался ли он с его доброй, естественной улыбкой один в состоянии войны против целого света?

В последней повести Толстого не было иных законов, кроме тех, что воплотил в себе ее герой. Писатель верил: не они противоречат миру, а весь мир противоречит им. Он, конечно, жалел казаков, что были вероломно убиты Хаджи-Муратом и его спутниками в момент побега. Но ведь они, государевы слуги, стали на пути героя к «вечной гармонии вселенной». И эта жажда языческой свободы прорвалась на свет новой войной. Идеал произведения в конечном итоге не заключал в себе никакой другой возможности. Оттого и «бодрая» смерть Хаджи-Мурата была пронизана такой безысходностью. Даже гений Толстого оказался бессилем вдохнуть надежду в неизбежно грустный финал повести о «гордой добродетели». Прославленный художник, окруженный всеобщим вниманием «учитель жизни», он и сам незримо предстал на ее страницах одиноким, мятущимся человеком. Свою «лирическую исповедь» он решил не печатать до конца дней.

* * *

Глубокой ночью в конце осени 1910 года втайне от всех Толстой покинул Ясную Поляну. Десять дней спустя он умер посреди России на безвестной до этого железнодорожной станции Астапово. Его похоронили в Ясной Поляне – там, где он завещал. Место было выбрано им не случайно. Когда-то, очень давно, его брат Николенька говорил, что здесь, у лесного оврага, зарыта зеленая палочка – сказочный талисман земного рая. На могиле Толстого нет креста, нет на ней даже памятника. Этого хотел он сам. Только холм земли, с весны до осени покрытый травой.

На Кавказе и в мире, почти не затихая, снова идет война.

Александр Гулин

Кавказский пленник (быль)



1

Служил на Кавказе офицером один барин. Звали его Жилин.

Пришло раз ему письмо из дома. Пишет ему старуха мать: «Стара я уж стала, и хочется перед смертью повидать любимого сынка. Приезжай со мной проститься, похорони, а там и с Богом, поезжай опять на службу. А я тебе и невесту приискала: и умная, и хорошая, и именье есть. Полюбится тебе, может, и женишься и совсем останешься».

Жилин и раздумался: «И в самом деле: плоха уж старуха стала; может, и не придется увидеть. Поехать; а если невеста хороша – и жениться можно».

Пошел он к полковнику, выправил отпуск, простился с товарищами, поставил своим солдатам четыре ведра водки на прощанье и собрался ехать.

На Кавказе тогда война была. По дорогам ни днем ни ночью не было проезда. Чуть кто из русских отъедет или отойдет от крепости, татары или убьют, или уведут в горы. И было заведено, что два раза в неделю из крепости в крепость ходили провожатые солдаты. Спереди и сзади идут солдаты, а в середине едет народ.

Дело было летом. Собрались на зорьке обозы за крепость, вышли провожатые солдаты и тронулись по дороге. Жилин ехал верхом, а телега с его вещами шла в обозе.

Ехать было 25 верст. Обоз шел тихо; то солдаты остановятся, то в обозе колесо у кого соскочит или лошадь станет, и все стоят – ждут.

Солнце уже и за полдни перешло, а обоз только половину дороги прошел. Пыль, жара, солнце так и печет, а укрыться негде. Голая степь, ни деревца, ни кустика по дороге.

Выехал Жилин вперед, остановился и ждет, пока подойдет обоз. Слышит, сзади на рожке заиграли, – опять стоять. Жилин и подумал: «А не уехать ли одному, без солдат? Лошадь подоймной добрая, если и нападусь на татар – ускачу. Или не ездить?..»

Остановился, раздумывает. И подъезжает к нему на лошади другой офицер, Костылин, с ружьем и говорит:

– Поедем, Жилин, одни. Мочи нет, есть хочется, да и жара. На мне рубаху хоть выжми. – А Костылин – мужчина грузный, толстый, весь красный, а пот с него так и льет. Подумал Жилин и говорит:

– А ружье заряжено?

– Заряжено.

– Ну, так поедem. Только уговор – не разъезжаться.

И поехали они вперед по дороге. Едут степью, разговаривают да поглядывают по сторонам. Кругом далеко видно.

Только кончилась степь, пошла дорога промеж двух гор в ущелье, Жилин и говорит:

– Надо выехать на гору, поглядеть, а то тут, пожалуй, выскочат из-за горы и не увидишь.

А Костылин говорит:

– Что смотреть? поедem вперед.

Жилин не послушал его.

– Нет, – говорит, – ты подожди внизу, а я только взгляну.

И пустил лошадь налево, на гору. Лошадь под Жилиным была охотничья (он за нее сто рублей заплатил в табуне жеребенком и сам выездил); как на крыльях взнесла его на круч. Только выскакал, глядь – а перед самым им, на десятину места, стоят татары верхами, – человек тридцать. Он увидел, стал назад поворачивать; и татары его увидели, пустились к нему, сами на скаку выхватывают ружья из чехлов. Припустил Жилин под круч во все лошадиные ноги, кричит Костылину:

– Вынимай ружье! – а сам думает на лошадь свою: «Матушка, вынеси, не зацепись ногой, спотыкнешься – пропал. Доберусь до ружья, я им не дамся».

А Костылин, вместо того чтобы подождать, только увидел татар – закатился что есть духу к крепости. Плетью ожаривает лошадь то с того бока, то с другого. Только в пыли видно, как лошадь хвостом вертит.

Жилин видит – дело плохо. Ружье уехало, с одной шашкой ничего не сделаешь. Пустил он лошадь назад к солдатам – думал уйти. Видит, ему наперерез катят шестеро. Под ним лошадь добрая, а под теми еще добрее, да и наперерез скачут. Стал он окорачивать, хотел назад поворотить, да уж разнеслась лошадь, не удержит, прямо на них летит. Видит – близится к нему с красной бородой татарин на сером коне. Визжит, зубы оскалил, ружье наготове.

«Ну, – думает Жилин, – знаю вас, чертей, если живого возьмут, посадят в яму, будут плетью пороть. Не дамся же живой».

А Жилин хоть невелик ростом, а удал был. Выхватил шашку, пустил лошадь прямо на красного татарина, думает: «Либо лошадью сомну, либо срублю шашкой».

На лошадь места не доскакал Жилин, выстрелили по нем сзади из ружей и попали в лошадь. Ударилась лошадь оземь со всего маху, – навалилась Жилину на ногу.

Хотел он подняться, а уж на нем два татарина вонючие сидят, крутят ему назад руки. Рванулся он, скинул с себя татар, – да еще соскакали с коней трое на него, начали бить прикладами по голове. Помутилось у него в глазах и зашатался. Схватили его татары, сняли с седла подпруги запасные, закрутили ему руки за спину, завязали татарским узлом, поволокли к седлу. Шапку с него сбили, сапоги стащили, все обшарили, деньги, часы вынули, платье все изорвали. Оглянулся Жилин на свою лошадь. Она, сердечная, как упала на бок, так и лежит, только бьется ногами, – до земли не достает; в голове дыра, и из дыры так и свищет кровь черная, – на аршин кругом пыль смочила.

Один татарин подошел к лошади, стал седло снимать. Она все бьется, – он вынул кинжал, прорезал ей глотку. Засвистело из горла, трепанулась, и пар вон.

Сняли татары седло, сбрую. Сел татарин с красной бородой на лошадь, а другие подсадили Жилина к нему на седло; а чтобы не упал, притянули его ремнем за пояс к татарину и повезли в горы.

Сидит Жилин за татаринoм, покачивается, тычется лицом в вонючую татарскую спину. Только и видит перед собой здоровенную татарскую спину, да шею жилистую, да бритый затылок из-под шапки синееется. Голова у Жилина разбита, кровь запеклась над глазами. И нельзя ему ни поправиться на лошади, ни кровь обтереть. Руки так закручены, что в ключице ломит.

Ехали они долго с горы на гору, переехали вброд реку, выехали на дорогу и поехали ложиной.

Хотел Жилин примечать дорогу, куда его везут, – да глаза замазаны кровью, а повернуться нельзя.

Стало смеркаться. Переехали еще речку, стали подниматься по каменной горе, запахло дымом, забрехали собаки.

Приехали в аул¹. Послезли с лошадей татары, собрались ребята татарские, окружили Жилина, пищат, радуются, стали камнями пулять в него.

Татарин отогнал ребят, снял Жилина с лошади и кликнул работника. Пришел ногоец скуластый, в одной рубахе. Рубаха оборванная, вся грудь голая. Приказал что-то ему татарин. Принес работник колодку: два чурбака дубовых на железные кольца насажены, и в одном кольце пробойник и замок.

Развязали Жилину руки, надели колодку и повели в сарай: толкнули его туда и заперли дверь. Жилин упал на навоз. Полежал, ощупал в темноте, где помягче, и лег.



¹ Аул – татарская деревня. (Примеч. Л. Н. Толстого.)

2

Почти всю эту ночь не спал Жилин. Ночи короткие были. Видит – в щелке светиться стало. Встал Жилин, раскопал щелку побольше, стал смотреть.

Видна ему из щелки дорога – под гору идет, направо сакля татарская, два дерева подле нее. Собака черная лежит на пороге, коза с козлятами ходит, хвостиками подергивают. Видит – из-под горы идет татарка молоденькая, в рубахе цветной, распояской, в штанах и сапогах, голова кафтаном покрыта, а на голове большой кувшин жестяной с водой. Идет, в спине подрагивает, перегибается, а за руку татарчонка ведет бритого, в одной рубашке. Прошла татарка в саклю с водой, вышел татарин вчерашний с красной бородой, в бешмете шелковом, на ремне кинжал серебряный, в башмаках на босу ногу. На голове шапка высокая, баранья, черная, назад заломлена. Вышел, потягивается, бороду красную сам поглаживает. Постоял, велел что-то работнику и пошел куда-то.

Проехали потом на лошадях двое ребят к водопою. У лошадей храп мокрый. Выбежали еще мальчишки бритые, в одних рубашках, без порток, собрались кучкой, подошли к сараю, взяли хворостину и суют в щелку. Жилин как ухнет на них: завизжали ребята, закатились бежать прочь, только коленки голые блестят.

А Жилину пить хочется, в горле пересохло; думает – хоть бы пришли проведать. Слышит – отпирают сарай. Пришел красный татарин, а с ним другой, поменьше ростом, черноватенький. Глаза черные, светлые, румяный, бородка маленькая, подстрижена; лицо веселое, все смеется. Одет черноватый еще лучше; бешмет шелковый синий, галунчиком обшит. Кинжал на поясе большой, серебряный; башмачки красные, сафьянные, тоже серебром обшиты. А на тонких башмачках другие толстые башмаки. Шапка высокая, белого барашка.

Красный татарин вошел, проговорил что-то, точно ругается, и стал; облокотился на при толку, кинжалом пошевеливает, как волк исподлобья косится на Жилина. А черноватый, – быстрый, живой, так весь на пружинах и ходит, – подошел прямо к Жилину, сел на корточки, оскаливается, потрепал его по плечу, что-то начал часто-часто по-своему лопотать, глазами подмигивает, языком прищелкивает, все приговаривает: «корошо урус! корошо урус!»

Ничего не понял Жилин и говорит: «Пить, воды пить дайте!»

Черный смеется. «Корош урус», – все по-своему лопочет.

Жилин губами и руками показал, чтоб пить ему дали.

Черный понял, засмеялся, выглянул в дверь, кликнул кого-то: «Дина!»

Прибежала девочка – тоненькая, худенькая, лет тринадцати и лицом на черного похожа. Видно, что дочь. Тоже – глаза черные, светлые и лицом красивая. Одета в рубаху длинную, синюю, с широкими рукавами и без пояса. На полах, на груди и на рукавах оторочено красным. На ногах штаны и башмачки, а на башмачках другие с высокими каблуками; на шее монисто, всё из русских полтинников. Голова непокрытая, коса черная, и в косе лента, а на ленте при-вешаны бляхи и рубль серебряный.

Велел ей что-то отец. Убежала и опять пришла, принесла кувшинчик жестяной. Подала воду, сама села на корточки, вся изогнулась так, что плечи ниже колен ушли. Сидит, глаза раскрыла, глядит на Жилина, как он пьет, как на зверя какого.

Подав ей Жилин назад кувшин. Как она прыгнет прочь, как коза дикая. Даже отец засмеялся. Послал ее еще куда-то. Она взяла кувшин, побежала, принесла хлеба пресного на дощечке круглой и опять села, изогнулась, глаз не спускает – смотрит.

Ушли татары, заперли опять дверь.

Погодя немного, приходит к Жилину ногоаец и говорит:

– Айда, хозяин, айда!

Тоже не знает по-русски. Только понял Жилин, что велит идти куда-то.

Пошел Жилин с колодкой, хромает, ступить нельзя, так и воротит ногу в сторону. Вышел Жилин за ногойцем. Видит – деревня татарская, домов десять, и церковь ихняя, с башенкой. У одного дома стоят три лошади в седлах. Мальчишки держат в поводу. Выскочил из этого дома черноватый татарин, замахал рукой, чтоб к нему шел Жилин. Сам смеется, все говорит что-то по-своему, и ушел в дверь. Пришел Жилин в дом. Горница хорошая, стены глиной гладко вымазаны. К передней стене пуховики пестрые уложены, по бокам висят ковры дорогие; на коврах ружья, пистолеты, шашки – всё в серебре. В одной стене печка маленькая вровень с полом. Пол земляной, чистый как ток, и весь передний угол устлан войлоками; на войлоках ковры, а на коврах пуховые подушки. И на коврах в одних башмаках сидят татары: черный, красный и трое гостей. За спинами у всех пуховые подушки подложены, а перед ними на круглой дощечке блины просяные и масло коровье распущено в чашке, и пиво татарское – буза, в кувшинчике. Едят руками, и руки все в масле.

Вскочил черный, велел посадить Жилина в сторонке, не на ковер, а на голый пол, залез опять на ковер, угощает гостей блинами и бузой. Посадил работник Жилина на место, сам снял верхние башмаки, поставил у двери рядом, где и другие башмаки стояли, и сел на войлок поближе к хозяевам; смотрит, как они едят, слюни утирает.

Поели татары блины, пришла татарка в рубаше такой же, как и девка, и в штанах; голова платком покрыта. Унесла масло, блины, подала лоханку хорошую и кувшин с узким носком. Стали мыть руки татары, потом сложили руки, сели на коленки, подули на все стороны и молитвы прочли. Поговорили по-своему. Потом один из гостей-татар повернулся к Жилину, стал говорить по-русски.

– Тебя, – говорит, – взял Кази-Мугамед, – сам показывает на красного татарина, – и отдал тебя Абдул-Мурату, – показывает на черноватого. – Абдул-Мурат теперь твой хозяин. – Жилин молчит.

Заговорил Абдул-Мурат, и все показывает на Жилина, и смеется, и приговаривает: «солдат урус, корошо урус».

Переводчик говорит: «Он тебе велит домой письмо писать, чтоб за тебя выкуп прислали. Как пришлют деньги, он тебя пустит».

Жилин подумал и говорит: «А много ли он хочет выкупа?»

Поговорили татары, переводчик и говорит:

– Три тысячи монет.

– Нет, – говорит Жилин, – я этого заплатить не могу.

Вскочил Абдул, начал руками махать, что-то говорит Жилину, – всё думает, что он поймет. Перевел переводчик, говорит: «Сколько же ты дашь?»

Жилин подумал и говорит: «Пятьсот рублей».

Тут татары заговорили часто, все вдруг. Начал Абдул кричать на красного, залопотал так, что слюни изо рта брызжут. А красный только жмурится да языком пощелкивает.

Замолчали они; переводчик и говорит:

– Хозяину выкупу мало пятьсот рублей. Он сам за тебя двести рублей заплатил. Ему Кази-Мугамед был должен. Он тебя за долг взял. Три тысячи рублей, меньше нельзя пустить. А не напишешь, в яму посадят, наказывать будут плетью.

«Эх, – думает Жилин, – с ними что робеть, то хуже». Вскочил на ноги и говорит:

– А ты ему, собаке, скажи, что если он меня пугать хочет, так ни копейки ж не дам, да и писать не стану. Не боялся, да и не буду бояться вас, собак!

Пересказал переводчик, опять заговорили все вдруг.

Долго лопотали, вскочил черный, подошел к Жилину.

– Урус, – говорит, – джигит, джигит урус!

Джигит, по-ихнему, значит «молодец». И сам смеется; сказал что-то переводчику, а переводчик говорит:

– Тысячу рублей дай.

Жилин стал на своем: «Больше пятисот рублей не дам. А убьете, – ничего не возьмете».

Поговорили татары, послали куда-то работника, а сами то на Жилина, то на дверь поглядывают. Пришел работник, и идет за ним человек какой-то, толстый, босиком и ободранный, на ноге тоже колодка.

Так и ахнул Жилин, – узнал Костылина. И его поймали. Посадили их рядом; стали они рассказывать друг другу, а татары молчат, смотрят. Рассказал Жилин, как с ним дело было; Костылин рассказал, что лошадь под ним стала и ружье осеклось и что этот самый Абдул нагнал его и взял.

Вскочил Абдул, показывает на Костылина, что-то говорит.

Перевел переводчик, что они теперь оба одного хозяина, и кто прежде выкуп даст, того прежде отпустят.

– Вот, – говорит Жилину, – ты все серчаешь, а товарищ твой смирный; он написал письмо домой, пять тысяч монет пришлют. Вот его и кормить будут хорошо, и обижать не будут.

Жилин говорит:

– Товарищ как хочет; он, может, богат, а я не богат. Я, – говорит, – как сказал, так и будет. Хотите убивайте, – пользы вам не будет, а больше пятисот рублей не напишу.

Помолчали. Вдруг как вскочит Абдул, достал сундучок, вынул перо, бумаги лоскут и чернила, сунул Жилину, хлопнул по плечу, показывает: «пиши». Согласился на 500 рублей.

– Погоди еще, – говорит Жилин переводчику, – скажи ты ему, чтоб он нас кормил хорошо, одел-обул как следует, чтоб держал вместе, – нам веселей будет, и чтобы колодку снял. – Сам смотрит на хозяина и смеется. Смеется и хозяин. Выслушал и говорит:

– Одежу самую лучшую дам: и черкеску, и сапоги, хоть жениться. Кормить буду, как князей. А коли хотят жить вместе – пускай живут в сарае. А колодку нельзя снять – уйдут. На ночь только снимать буду. – Подскочил, треплет по плечу. – Твоя хорош, моя хорош!

Написал Жилин письмо, а на письме не так написал, чтоб не дошло. Сам думает: «Я уйду».

Отвели Жилина с Костылиным в сарай, принесли им туда соломы кукурузной, воды в кувшине, хлеба, две черкески старые и сапоги истрепанные, солдатские. Видно, с убитых солдат стащили. На ночь сняли с них колодки и заперли в сарай.

3

Жил так Жилин с товарищем месяц целый. Хозяин все смеется. – Твоя, Иван, хорош, – моя, Абдул, хорош. – А кормил плохо, – только и давал, что хлеб пресный из просяной муки, лепешками печенный, а то и вовсе тесто непеченое.

Костылин еще раз писал домой, все ждал присылки денег и скучал. По целым дням сидит в сарае и считает дни, когда письмо придет, или спит. А Жилин знал, что его письмо не дойдет, а другого не писал.

«Где, – думает, – матери столько денег взять, за меня заплатить. И то она тем больше жила, что я посылал ей. Если ей пятьсот рублей собрать, надо разориться вконец. Бог даст – и сам выберусь».

А сам все высматривает, выпытывает, как ему бежать. Ходит по аулу, насвистывает; а то сидит, что-нибудь рукодельничает, или из глины кукол лепит, или плетет плетенки из прутьев. А Жилин на всякое рукоделье мастер был.

Слепил он раз куклу, с носом, с руками, с ногами и в татарской рубахе, и поставил куклу на крышу.

Пошли татарки за водой. Хозяйская дочь Динка увидела куклу, позвала татарок. Составили кувшины, смотрят, смеются. Жилин снял куклу, подает им. Они смеются, а не смеют взять. Оставил он куклу, ушел в сарай и смотрит, что будет?

Подбежала Дина, оглянувшись, схватила куклу и убежала. Наутро смотрит, на зорьке Дина вышла на порог с куклой. А куклу уж лоскутками красными убрала и качает, как ребенка, сама по-своему прибаюкивает. Вышла старуха, забранилась на нее, выхватила куклу, разбила ее, услала куда-то Дину на работу.

Сделал Жилин другую куклу, еще лучше, – отдал Дине. Принесла раз Дина кувшинчик, поставила, села и смотрит на него, сама смеется, показывает на кувшин.

«Чего она радуется?» – думает Жилин. Взял кувшин, стал пить. Думает, вода, а там молоко. Выпил он молоко, «хорошо», – говорит. Как взрадуется Дина!

– Хорошо, Иван, хорошо! – и вскочила, забила в ладоши, вырвала кувшин и убежала.

И с тех пор стала она ему каждый день, крадучи, молока носить. А то делают татары из козьего молока лепешки сырные и сушат их на крышах, – так она эти лепешки ему тайком принашивала. А то раз резал хозяин барана, – так она ему кусок баранины принесла в рукаве. Бросит и убежит.



Была раз гроза сильная, и дождь час целый как из ведра лил. И помутились все речки, где брод был, там на три аршина вода пошла, камни ворочает. Повсюду ручьи текут, гул стоит по горам. Вот как прошла гроза, везде по деревне ручьи бегут. Жилин выпросил у хозяина ножик, вырезал валик, дощечки, колесо оперил, а к колесу на двух концах кукол приделал.

Принесли ему девчонки лоскутков, – одел он кукол: одна – мужик, другая – баба; утвердил их, поставил колесо на ручей. Колесо вертится, а куколки прыгают.

Собралась вся деревня: мальчишки, девчонки, бабы; и татары пришли, языком щелкают: – Ай, урус! ай, Иван!

Были у Абдула часы русские, сломанные. Позвал он Жилина, показывает, языком щелкает. Жилин говорит:

– Давай починю.

Взял, разобрал ножичком, разложил; опять сладил, отдал. Идут часы.

Обрадовался хозяин, принес ему бешмет свой старый, весь в лохмотьях, подарил. Нечего делать, взял, – и то годится покрыться ночью.

С тех пор прошла про Жилина слава, что он мастер. Стали к нему из дальних деревень приезжать: кто замок на ружье или пистолет починить принесет, кто часы. Привез ему хозяин снасть: и щипчики, и буравчики, и подпилочек.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.